

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

И.М. САВЕЛЬЕВА

Междисциплинарные основания и дисциплинарная идентичность культурной истории*

Автор доказывает, что активно развивающееся направление культурной истории (*cultural history*), несмотря на то, что в нем используются методы и подходы, заимствованные из других научных дисциплин, нельзя охарактеризовать как область междисциплинарных исследований. Это скорее автономная субдисциплина, единство которой обеспечивается несколькими факторами и в частности общей оптикой исследования, предполагающей рассмотрение любых объектов через призму культуры (символов и практик).

Ключевые слова: культурная история, междисциплинарность, методология.

The author examines the rapidly developing branch of cultural history. Despite the fact that it uses methods and approaches borrowed from other disciplines, it cannot be characterized as a sphere of interdisciplinary research. It is rather an autonomous subdiscipline. Its unity is achieved by several factors. In particular this is achieved through research optics, involving the consideration of any objects through the prism of culture (symbols and practices).

Keywords: cultural history, interdisciplinarity, methodology.

В данной статье на примере культурной истории я хотела бы поставить проблему устойчивости дисциплинарных границ, задавшись следующими вопросами:

1. Всегда ли (обязательно ли) можно констатировать нарушение суверенитета дисциплины, если для решения исследовательских задач широко используются теории разных социальных и гуманитарных наук?

2. Что происходит с методами, когда теории одной дисциплины заимствуются и применяются в другой? Поясню сразу, что под методами имеются в виду именно методы, то есть приемы, способы анализа, а не “методология”, специфически российское понятие, унаследованное от эпохи доминирования марксистского подхода и больше тяготеющее к философии истории (“теория исторического познания”).

Для ответа на оба вопроса культурная история (*cultural history*) в качестве предмета анализа представляется репрезентативным примером именно потому, что, располагаясь на перекрестке истории и культуры, это направление широко использует теоре-

* В статье использованы результаты, полученные в ходе работы над проектом “Конструирование прошлого и формы исторической культуры в современных городских пространствах” по программе фундаментальных исследований НИУ–ВШЭ в 2013 г.

тические возможности самых разных гуманитарных и социальных дисциплин. К тому же, будучи современным, возникнув на волне увлечения междисциплинарностью, оно впитало в себя и последовательно отразило большинство историографических поворотов и волн, то есть *cultural history* предлагает широкую панораму релевантных теорий в динамике. Далее речь пойдет об объектах, концепциях, методах культурной истории в контексте проблем ее дисциплинарного статуса, теорий и методов. Прежде всего сформулирую общие соображения, которые я хотела бы ввести в русло дискуссии, потому что они кажутся мне базовыми.

Взаимопроникновение и взаимообогащение социальных наук, так называемая междисциплинарность, – явление в принципе характерное для второй половины XX в., и обусловлено оно результатами идущего с XIX в. процесса с обратным знаком – дисциплинаризации, размежевания социальных наук, их выделения в самостоятельные области знания, маркированные факультетами, кафедрами, журналами, профессиональными ассоциациями и т.д. История, социология, политические науки, антропология, география, экономика в своем современном виде, то есть как отдельные профессиональные дисциплины, возникли в последние десятилетия XIX–начала XX в. До этого интеллектуальный багаж социального знания находился в общем распоряжении – перемещение от Ч. Дарвина к Г. Спенсеру или Дж. Миду, и пользование их концепциями не осмысливалось как *междисциплинарность*. Когда основоположник позитивизма О. Конт назвал социологию “историей, в которой нет имен индивидов и даже имен народов” (цит. по [Коллингвуд, 1980, с. 123–124]), многие историки увидели в этой максиме руководство к действию и вполне удовлетворились ролью поставщиков материала для социологических обобщений. Так возникла общая идея позитивистской истории, некий исследовательский императив исторической науки на многие десятилетия, под которым подразумевалась профессиональная идеология историков, стремящихся работать “по ту сторону” теоретизирования, заниматься решением частных научных проблем. Что не менее важно, на этом этапе в распоряжении становящихся социальных дисциплин преобладали общие для всех методы исследования: филологический, исторический, статистический и др.

Взросление отдельных дисциплин и складывание их собственных когнитивных моделей, включая теоретические ресурсы и понятийный аппарат, сопровождалось и разработкой специфических методов. Как показывает Л. Дастон, профессионализация и специализация в английской, французской и немецкой традициях происходили по-разному, но везде эти процессы вели к институционализации социально-научного знания [Daston, 1999]. В начале XX в. академические дисциплины, оснащенные собственными факультетами, кафедрами, учебными программами, системами оценивания превратились в отдельные универсумы [Abbott, 2001; Lepenis, 1989; Novick, 1988] и “совершенно преобразили благодатную интеллектуальную панораму конца XVIII–начала XIX веков. Оправдывая свое название, они разработали мощный дисциплинирующий механизм контроля и ограничений. Обладая монополией на сертификацию и контролем над учебными планами, наймом, штатным расписанием и распределением финансов, они обезопасили себя с помощью четко проведенных границ” [Sewell, 2005, p. 2].

Речь, конечно, идет не только об институциональных границах и механизмах администрирования и контроля. Параллельно между науками происходило размежевание и в когнитивной сфере: формировались собственные правила построения дисциплинарных дискурсов, теории, методы, кластеры ключевых понятий. Только тогда, когда дисциплины отчетливо обособились, могла обнаружиться потребность в диалоге, а проблема междисциплинарности как теоретический вопрос вообще возникла лишь во второй половине XX в.

В известном программном тексте 1958 г., объясняющем принципы “новой истории”, Ф. Бродель заявил, что “науки о человеке” находятся в кризисе, который парадоксально вызван их прогрессом, помноженным на неспособность работать сообща. Старая парадигма, определяемая как “коварный и ретроградный гуманизм” (*humanisme rétrograde, insidieux*), мешает выработать единую основу. Образуется непродуктивное

“монструозное множество старых и новых исследований” (*ensemble monstrueux des recherches anciennes et nouvelles*), потребность в упорядочении которого жизненно необходима). В той же работе как позитивный пример стремления к междисциплинарности он указал структурную антропологию К. Леви-Стросса, сочетающую в себе “лингвистические процедуры”, “горизонты бессознательной истории”, “молодой империализм качественной математики” – под стягами “науки о коммуникации, антропологии, политэкономии и лингвистики” [Braudel, 1958, p. 725–753].

Призыв Броделя “работать сообща” относился к представителям всех социальных наук. Историк констатировал начавшееся движение к созданию “публичного домена” не только идей (это было всегда), но и теорий, методов, предметных полей и специализаций – процесс разрушения стен и наведения мостов. В последние десятилетия прошлого века это движение привело к становлению разнообразных исторических направлений, объединяющих в своем наименовании разные дисциплины (экономическая история, социальная история, историческая антропология и пр.). Появились и такие, которые связывают два предмета исследования. Среди них – очень продуктивное направление *cultural history* (*neue Kulturgeschichte, histoire culturelle*), в фокусе которой оказываются два предельно широких феномена (и понятия): культура и история. Диапазон культурной истории не ограничивается только названными национальными школами – он ими основоположен. В России культурная история представлена известными работами М. Бойцова, Е. Вишленковой, М. Могильнер, О. Тогоевой и др. В итальянской историографии есть *storia culturale* А. Арканджели, в испанской – *historia cultural* развивают Х.-П. Рубес, А. Мира, А. Буса, С. Пол-Валеро.

Культурная история: безграничность теории

Мой первый тезис состоит в том, что культурная история – это не междисциплинарное направление, но автономная историческая субдисциплина, которая была бы невозможна, если бы в ней активно и свободно (часто без особой рефлексии) не использовались теории других дисциплин.

Конечно, интерес к перекрестку культуры и истории – явление в науке не новое. С XVIII в. существует *Kulturgeschichte* – история духовной культуры во времени и пространстве, с такими центральными понятиями, как язык, религия, искусство, наука, *дух народа*. *Kulturgeschichte* XVIII в. отсылает к немецкому романтизму, И.Г. Гердеру, а в XX в. – к таким фигурам, как А. Тойнби и О. Шпенглер. Но *Kulturgeschichte* – не историографическое направление, она скорее представляет философию культуры, чем историю, и не связана с модусом проявления междисциплинарности в современной исторической науке.

Напротив, культурная история предполагает разговор прежде всего о проблематике междисциплинарности, ибо эти исследования опираются на культурную антропологию, семиотику, *cultural studies*, визуальные исследования, социологию чтения и другие гуманитарные и социальные науки, используя их теории и исследовательские модели.

Как уже говорилось, сегодня проблема культуры и историческая оптика ее изучения существуют в целом ряде национальных историографий. Коротко остановлюсь на основополагающих, заметив, что причины появления у них были достаточно разными, что определило отчасти и области интересов (подробнее см. [Savelieva, 2013]).

Cultural history как термин четко прослеживается в английской и американской историографиях с 1970-х гг. Иногда его отцом-основателем называют Я. Буркхардта, но родоначальником этого направления в его современном виде справедливо считать Э.П. Томпсона, написавшего в 1963 г. пионерское исследование, в котором ранняя история рабочего класса Англии была увидена через формирование рабочей культуры, сыгравшей роль субстрата социальной идентичности [Thompson, 1991]. В интерпретации Томпсона, рабочие не были всего лишь “жертвами истории”, они активно участвовали в процессе своего социального становления. Именно “рабочая культура”

с ее ценностями солидарности, коллективизма, взаимопомощи, политического радикализма и религиозного методизма сделала пролетариат классом, отличным от других слоев общества и позволила ему осознать свою инаковость. Исследование Томпсона отражало радикализацию социальной истории 1960-х гг., ее интерес к простому человеку и его созидательной роли (*agency*). Однако вскоре подход, предложенный для изучения групповой культуры, позволил включить в сферу культурной истории многие другие объекты – право, политику войны, экономику и т.д. При изучении любых сюжетов с позиций культурной истории главной всегда оказывается “культурно-историческая” перспектива: процессы коммуникации, мир ритуалов и церемоний как посредников политической воли и идеологических влияний, политическая семиотика, “образцы культуры”, символически-экспрессивные аспекты человеческого поведения, игровые практики и фигуры речи. Исследования по *cultural history* дали инструменты и для изучения достаточно новых областей исторического, таких как повседневное взаимодействие, микровласть, культурная память, полиидентичность, телесность и т.д.

*Neue Kulturgeschichte*¹ в Германии, развиваясь, как и *cultural history*, в рамках новой социальной истории 1960–1980-х гг. и оппонируя ей [Deile, 2005; Tschopp, Weber, 2007; Wehler, 1998], противопоставила социальной, политической, хозяйственной, военной истории, интерпретируемой в терминах структур и процессов, исследование культурной составляющей прошлого и *роль людей как агентов перемен*, происходящих в обществе. Так же как и в *cultural history*, в качестве аналитических были задействованы такие феномены, как коллективные представления, символика, ритуалы прошлого, метафорика пропаганды и пр. [Lutz, 2003, S. 233, 228], что позволило создать принципиально новые интерпретации, в том числе социального и политического: от средневекового политического символизма до политической культуры Веймарской республики и Третьего рейха [Stollberg-Rilinger, 2005].

Во Франции к *cultural history* очень близка *histoire culturelle*, хотя надо сказать, что последняя, как и *neue Kulturgeschichte*, – явление все же более позднее, чем *cultural history*, которая очень сильно была завязана на культурную антропологию. Новые направления теоретически уже более разнообразны. Более того, приход *histoire culturelle* во французскую историческую науку был связан с падением престижа исторической антропологии во Франции, отразившемся в практике большинства исторических институтов и журналов². Одним из результатов разочарования и стало появление *histoire culturelle* (Р. Шартье, П. Ори, М. Озуф, Ф. Пуарье) [Poitrier, 2004; 2008; Ory, 2007; 1987; Chartier, 1989].

Таким образом, “культурная история” в разных традициях включает свои подходы и темы. И все же при очевидном разнообразии направлений и расплывчатости контуров культурная история, безусловно, представляет собой единую субдисциплину. Во-первых, ее национальные варианты характеризуются содержательной целостностью, почти точным языковым соответствием и единством времени. Во-вторых, в разных научных школах они существуют одновременно и являются новыми. В-третьих, все они сложились и остаются *внутри* исторической науки, а не за ее пределами. В-четвертых, общее для них в широком смысле – не объект, а оптика исследования – “культурная интерпретация”, то есть рассмотрение любых объектов через призму культуры (символов и практик) [New... 2005; Conrad, Kessel, 1998; Daniel, 2006; Maurer, 2008; Stollberg-Rilinger, 2005]. Напротив, объектом может быть что угодно: политика, социальные институты, социальные сети, экономика, что и создает впечатление бескрайности предмета. Однако предметное знание, перекресток культуры и истории, в значительной мере играет методологическую роль, “выступая одновременно как средство, путь поиска нового знания” [Гофман, 1996, с. 166].

¹ Термин подчеркивает отличие новой дисциплины от традиционной *Kulturgeschichte*, которая представляла собой не столько историю, сколько философию культуры.

² Важное исключение составляла группа по изучению исторической антропологии в Парижской школе высших социальных исследований, возглавлявшаяся Ж. Ле Гоффом и Ж.-К. Шмитом.

Кратко поясню, что имеется в виду. Например, история политики, которая традиционно складывалась как история политических движений, политических решений, реформ, революций, в культурной истории рассматривается через призму культуры. Так же – и история идей. На перекрестке этих подходов возникает принципиально иное знание и о политике, и о циркуляции идей, и о их роли в политическом процессе. Можно сослаться на известную работу Р. Шартье “Культурные истоки французской революции”, в которой он противопоставляет свой метод исследования подходу Д. Морнэ, который опубликовал в 1933 г. знаменитую и великолепную работу “Интеллектуальные истоки французской революции” [Mornet, 1967]. Шартье в своем исследовании следует за Ю. Хабермасом, предложившим известную концепцию формирования публичной сферы, и изучает, как во французском обществе складывалась сфера публичной политики, институт общественного мнения. Он анализирует не идеи, впоследствии объединенные и названные Просвещением, которые якобы привели к революции, а процесс распространения этих идей в народе. Он смотрит, что обычные люди читали, изучает культуру чтения. Надо заметить попутно, что книжная культура, которой активно занимается культурная история, – очень интересное направление, которое как раз позволило изучить, насколько Западная Европа была читающей уже с XVII в. Вообще открытие новых предметов исследования, благодаря взгляду на прошлое сквозь призму культуры, – одно из важнейших достижений *cultural history*.

Общее направление в конструировании прошлого с новых позиций можно охарактеризовать как стремление к замене социальной истории культуры культурной историей общества. Как и многие новые субдисциплинарные направления последних десятилетий *cultural history* использовала идеи, теории, кластеры ключевых понятий, из самых разных социальных и гуманитарных наук [Arcangeli, 2011; Burke, 1997; 2004; Ginzburg, 1989; Maor, 1987; Melching, Velema, 1994; Poster, 1997], но несомненно, она относится к истории (дискурс и система аргументации историческая, объект и свидетельство о нем – в прошлом). Обосновать этот тезис можно, в том числе, осветив вопрос о методах культурной истории.

Границы методов

Слово “метод”, как известно, по-гречески означает “путь”, применительно к научной работе синонимами ему могут быть слова “прием”, “способ”. Вопрос о взаимоотношении теории и метода при возникновении междисциплинарных объектов и областей кажется мне очень важным, особенно в случае истории. Еще И.Г. Дройзен, определяя исторический Метод (методологию) как “понимание путем исследования”, призывал: “ищите методы”, имея в виду именно *пути* к пониманию. Ведь историк обычно не может использовать средства и приемы познания, составляющие инструментарий той или иной теории, на которые опираются социологи, психологи или антропологи (они-то часто могут заимствовать техники исследования друг у друга), – психометрическое тестирование, социометрический мониторинг, этнографические описания, углубленные интервью и долгосрочные наблюдения. Как же в этом случае выбирать *путь* исследования? Что происходит в области методов, если историк опирается на теорию, разработанную для другой дисциплины, предполагающей совсем иные возможности для работы с объектами в настоящем?

Историк имеет дело с текстами и визуальными материалами *прошлого*, значит, к “чужой” теории прилагается во многом другая система анализа, которая, собственно, и отличает историческую профессию. В случае междисциплинарного подхода многое определяется выбором объекта и источниковой базы, но успех или неудача зависят и от адекватности теории, и от применимости ее методов к материалу, с которым работает заимствующая наука, в данном случае – история, и чаще всего – от возможности адаптации исторических способов исследования к “чужеродной” теоретической схеме.

Не все выборы приводили к позитивным результатам. Но определенно можно сказать, что *cultural history* сегодня представлена очень яркими и многочисленными

примерами удачного использования “чужих” методов. В частности, применение методов семиотики, лингвистики, визуальных исследований, позволило осуществить интересные работы в области символических репрезентаций власти, проблематики империй, истории ритуалов, повседнежности, отдельных событий и т.д. Использование указанных методов стало возможным, потому что речь в этих случаях идет именно о способах изучения *текстов* в широком смысле, будь то письменные источники или визуальные объекты.

Намного сложнее обстоит дело с использованием подходов, наработанных в теориях культурной антропологии, к идеям и выводам которой современные историки обращались особенно активно. По словам важнейшего для историков авторитета в области культурной антропологии К. Гирца, «понимание культуры как “контрольного механизма” начинается с предположения, что человеческая мысль в основе имеет одновременно общественный и публичный характер: естественная для нее среда обитания – это двор, рынок, городская площадь. Мышление состоит не из “случайностей в голове” (правда, случаются что-то непременно должно как в ней, так и за ее пределами, чтобы мышление могло иметь место), а из постоянных движений того, что Д.Г. Мид и другие называли значимыми символами» [Гирц, 2004, с. 56–57].

Кроме того, по мнению Гирца, “обратная сторона нашей аргументации, стало быть, состоит в следующем: не руководимое моделями, поставляемыми культурой, – упорядоченными системами значимых символов, – поведение человека было бы практически неуправляемым (в самом деле, было бы просто хаосом бессмысленных действий и спонтанных эмоций), а его опыт – практически неоформленным. Культура, аккумулируемая совокупность таких моделей, представляет собой не простое украшение человеческого существования, но главную основу его специфичности и необходимое его условие” [Гирц, 2004, с. 57–58].

Следуя по стопам Гирца, историки пытались применить метод “насыщенного описания” (позаимствованный Гирцем у философа Г. Райла) для культурной интерпретации социального опыта разных общественных групп прошлых эпох. О роли Гирца в культурной истории кто только ни писал. Я бы хотела лишь отметить, что, например, один из прямых наследников Гирца в историографии Р. Дарнтон не сильно преуспел на самом деле в применении методов своего наставника и коллеги (несмотря даже на “плотное общение” – они с Гирцем много лет вели совместный семинар в Принстоне). Достаточно задать два вопроса: «Что вы узнали о балийцах из исследования Гирца “Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев?”» и «Что вы узнали о парижских ремесленниках 30-х годов XVIII в. из статьи Дарнтонна “Рабочие бунтуют: великое кошачье побоище на улице Сен-Северн?”»:

Гирц месяцами живет в деревне на Бали. Его методы: постоянное наблюдение, общение и плотное описание глубоких³ и “неглубоких” игр. Результат исследования – достаточно подробные и достоверные наблюдения о балийцах: из книги Гирца можно узнать практически все, начиная от устройства повседневной жизни и практик коммуникации до организации общественной структуры и еще важнее – символического мира балийцев. В распоряжении Дарнтонна – трехстраничный рассказ очевидца, печатника Н. Конта [Contat, 1980], который в конце 30-х гг. XVIII в. обучался ремеслу на улице Сен-Северн в Париже и поведал о том, что “за всю историю книгопечатни Жака Венсана там не случилось ничего более умиротворительного, чем великое кошачье побоище”. Рассматривая это повествование как художественный текст, Дарнтон использует его “для этнологического *explication de texte*”. В дополнение к прямому, но более чем кратко к источнику, привлекаются материалы огромного архива ТТН (Типографское товарищество Невшателя), по документам которого можно делать косвенные выводы (“книгопечатное дело везде велось примерно одинаково”) о корпоративной органи-

³ «Понятие Бентама “глубокая игра” мы находим в его книге “Теория законодательства”. Под ним он имеет в виду игру, в которой ставки настолько высоки, что, с его утилитаристской точки зрения, людям вообще неразумно в нее ввязываться» [Гирц, 2004, с. 493].

зации ремесленников, но не Невшателя (Швейцария), а Парижа, их повседневной жизни, ритуалах и ценностях. Для проникновения в “смыслы, которые вкладывала народная культура в кошек”, автор обращается к сказкам народов Европы, записанным (или написанным???) в XIX в. Не сказку ли мы получаем в итоге? Дарнтон опирается на идею М. Бахтина о раблезианской смеховой культуре и сам не очень уверен в своих выводах: “Возможно, когда типографы судили, причащали и вешали множество полудохлых кошек, они хотели высмеять систему правового и социального мироустройства” [Дарнтон, 2002, с. 91, 96, 98, 116].

Конечно, если иметь в виду объем и глубину информации, равно как и убедительность выводов, Дарнтон проигрывает Гирцу, и в его лице насыщенное описание в истории проигрывает социологии. Причина в том, что насыщенное описание историка не могло базироваться на включенном наблюдении, а подразумевало работу с источниками, которые к тому же в большинстве своем прямо не относились к описываемому инциденту. Если все же “додумать мысль до конца” и оценить возможности использования теории культурной интерпретации в самих исторических исследованиях, то следует признать, что обращение к ней необычайно расширило и тематические горизонты, и историкокультурные возможности, а в результате историками были получены важные результаты.

Далее хочу остановиться на другой влиятельной теории, широко используемой в культурной истории (и не только), но чаще всего имплицитно (имя Мида еще можно встретить, но другие – крайне редко). Я имею в виду символический интеракционизм, который стал важной методологической опорой исследований по культурной истории, но, по моему мнению, его интерпретативные возможности используются историками недостаточно (в двух смыслах – и редко, и поверхностно). Причины этого отчасти коренятся в неосведомленности, отчасти в очевидном разрыве между методами социологов, психологов и историков.

Символический интеракционизм – одна из авторитетных социологических теорий, используемая во многих областях социологии (прежде всего, в микросоциологии), а также – в социальной психологии. Она ведет свое происхождение от философии американского прагматизма и в неявном виде была сформулирована американским философом, социологом и психологом Мидом, который постулировал, что индивидуальность людей является продуктом социальности и, в то же время, индивид обладает целеполаганием и креативностью. За свою жизнь Мид опубликовал около сотни статей, но не написал ни одной книги. Его книги, в том числе самую известную, в которой сформулированы его теория *mind, self and society*, собрали и издали его ученики.

Теория Мида была развита Г. Блумером, его учеником и интерпретатором. Он же ввел термин *symbolic interactionism* [Blumer, 1969]. Блумер считал, что “Наиболее человеческая и очеловечивающая деятельность, в которую вовлечены люди, – это разговоры друг с другом” (цит. по [Griffin, 2006, p. 60]). Соответственно, люди действуют по отношению к вещам (сущностям), основываясь на смыслах, которые эти сущности имеют для них, а эти смыслы в свою очередь извлекаются из социальных взаимодействий и модифицируются путем интерпретации, потому социальное взаимодействие лежит в основе всех наших действий. Если мы хотим понять причину действия, внимание надо концентрировать на социальном взаимодействии.

Важный вклад в развитие теории символического интеракционизма внесли также И. Энгстрём, Д. Миддлтон, Т. Парк, Д. Хортон, Ч. Кули, Ф. Знанецки и др. Социологи, работающие в этой традиции, рассматривали широкий круг тем с использованием разнообразных исследовательских приемов, особенно методов качественного анализа, чтобы изучать социальное взаимодействие и/или личностные свойства индивидов, таких как включенное наблюдение. Ключевые тезисы символического интеракционизма, сформулированные в многократно издававшейся работе Д. Шэрона [Charon, 2004], предлагают, на мой взгляд, чрезвычайно перспективный путь для изучения прошлого. Ведь историк всегда знал, что он изучает *res gestae*, здесь же внимание переносится на взаимодействие.

Идеи символического интеракционизма, выделенные Шэроном, можно суммировать в следующих положениях. Основная единица изучения в символическом интеракционизме – взаимодействие. Индивиды формируются через взаимодействия, общество тоже создается благодаря социальным взаимодействиям. В свою очередь то, что мы делаем в настоящем, зависит от предшествующих интеракций с другими людьми и от взаимодействий, происходящих прямо сейчас. Лишь постоянное стремление к социальным взаимодействиям приводит нас к тому, что мы делаем то, что мы делаем.

При этом в теории символической интеракции человек может быть понят только как мыслящее существо. Человеческое действие – не только взаимодействие между индивидами, но и взаимодействие в индивидуальном сознании. Важны не столько наши идеи, установки или ценности, сколько постоянный непрекращающийся процесс размышления. Мы не просто обусловлены, мы не просто существа, на которых влияют окружающие, мы не просто продукты общества. Мы по самой своей сути – мыслящие животные, всегда ведущие внутренний диалог, взаимодействуя с другими. Если мы хотим понять причину действия или события, надо концентрировать внимание на (раз)мышлении человека. Прошлое влияет на наши действия прежде всего потому, что мы думаем о нем и обращаемся к нему для определения текущей ситуации.

Люди описываются как активные существа по отношению к окружающей обстановке. Такие слова, как обусловленный, реагирующий (*responding*), контролируемый, несвободный, формируемый (*formed*), не используются для описания человека в теории символической интеракции. И не менее важная для этой теории презумпция состоит в том, что люди не чувствуют окружающую обстановку непосредственно, напротив, они определяют ситуацию, в которой находятся. Окружающая среда может существовать независимо от нас, но важно то, как мы ее определяем. И это происходит не по воле случая, но возникает в результате двух непрерывных и взаимосвязанных процессов: социального взаимодействия и размышления [Chagon, 2004, p. 31].

Теория символического интеракционизма может с успехом использоваться для исследования той же проблематики в прошлом, для изучения которой она более всего применяется в социологии и социальной психологии: социальных сообществ, коллективных действий, социальных движений, эмоций, девиантного поведения. Особенно эвристически перспективна эта теория для воссоздания прошлого сообществ с ярко выраженной склонностью к “самокомментированию” и рефлексии (интеллектуалов, художников, ученых).

В то же время, используя теорию “символического интеракционизма”, историк сталкивается с тем, что поскольку применить предполагаемый ей инструментарий к историческому материалу напрямую невозможно, приходится адаптировать к этой теории методы исторического исследования, искать замену “включенному наблюдению”, вычитывая процессы социального взаимодействия и индивидуальных размышлений в имеющихся источниках и через них постигая, “почему люди делали то, что они делали” и как производились социальные смыслы.

Пример удачного использования теории символической интеракции в исторических трудах – исследование российских университетов, авторы которых отказались от функционалистского видения прошлого университета как институции и обратились к анализу сценариев жизни академических сообществ, дискурсов самоописания и культуре воспоминания [Университет... 1997, 2001; Вишленкова, Малышева, Сальникова, 2005; Отечественные... 2005; Кулакова, 2006; Вишленкова, Галиуллина, Ильина, 2012]. В результате применения такой оптики история российского университета перестала быть историей механического заимствования западной модели образования или историей противостояния группы прогрессивных интеллектуалов бюрократическому механизму империи, а стала историей профессорского сообщества как *создателя* университетской жизни, ее традиций, репрезентаций, языка самоописания, практик взаимодействия, способов историзации и классикализации собственной деятельности.

Например, в книге [Сословие... 2013] принципиально важен учет когнитивной специфики объекта изучения – высокорефлексивной группы (университетских препода-

давателей) по сравнению с менее “интеллектуально сопротивляющимися” группами, с которыми чаще всего работают, например, социологи и антропологи. Исследование фокусируется на способах порождения смыслов и удержания солидарности в условиях, когда профессорское сословие как социальная группа постоянно меняла во времени и пространстве свой состав, численность и конфигурацию. В свете ориентиров теории символического интеракционизма университетская жизнь предстала динамичной областью, где заключаются и перезакключаются конвенции относительно того, какие знания нужны российским подданным и какие – государству, каким должно быть качество научного исследования, по каким критериям оценивать успех учебной работы, как ученое сообщество понимает свое служение, и т.д.

Конечно, мы не должны забывать о том, что в поле гуманитарного и социального знания присутствует группа “странствующих” теорий (*vague theories*) с расплывчатым концептуальным ядром и нестрогим методологическим инструментарием, которые именно в силу этой своей “нестрогости” чрезвычайно легко находят себе место в самых разных дисциплинах, от этнологии до литературоведения (к числу таковых принадлежит, к примеру, концепция карнавала у Бахтина⁴). Чем менее строга теория, тем более популярной и успешной она может быть. Символический интеракционизм – одна из таких теорий, недаром Мид известен как философ (один из основоположников философии прагматизма), социолог (один из основателей американской социологической традиции) и один из создателей социальной психологии. И безусловно, сам Мид – классический пример социального теоретика, чьи работы нелегко расклассифицировать по конвенциональным дисциплинарным зонам.

Наряду с *vague theories*, во “всеобщем пользовании” находятся еще и *vague ideas*, в культурной истории, например, очень востребованы многие интуиции В. Беньямина, изложенные в манере, о которой С. Зонтаг пишет: «Фразы у него рождаются не так, как мы привыкли: одна не следует из другой. Любая возникает как первая – и последняя. (“В каждом предложении писатель должен ставить точку и начинать заново”, – сказано в предисловии к “Происхождению немецкой барочной драмы”). Движение мысли и истории развернуто как панорама идей, тезисы заострены до предела, от интеллектуальных перспектив кружится голова» [Зонтаг, 1997]. Конечно, интеллектуальные перспективы такого рода легко приживаются на любой дисциплинарной почве, не создавая напряжения между идеей и методом.

* * *

Cultural history в разных версиях и теоретических изводах обнаруживает множество вариантов успешного использования теорий и методов разных социальных и гуманитарных наук, их синтеза и адаптации к нуждам исторического исследования. Одновременно в когнитивном поле культурная история демонстрирует и обратную сторону процесса междисциплинарного взаимодействия – необыкновенную устойчивость дисциплин. На этот феномен, несмотря на бум междисциплинарных исследований, совершенно преобразивших, в частности, историческую науку, обратили внимание представители “новой междисциплинарности” (*new interdisciplinarity*) [Marcovich, Shinn, p. 589]. Историки уже полвека присваивают, социологи больше века совершают интервенции, но посмотрите на структуру университетов, состав редколлегий журналов, состав секций на научных конгрессах – бастионы дисциплин по-прежнему крепки. С точки зрения представлений о новой междисциплинарности, науки сегодня имеют очень устойчивое дисциплинарное ядро, прежде всего в когнитивном смысле – методологические ресурсы, язык и универсум вопросов. Кроме того, каждая дисциплина для своего представителя служит своего рода “верительной грамотой”, удостоверяя его принадлежность к определенной науке, его профессию, квалифика-

⁴ О научном и культурном генезисе карнавальной концепции Бахтина см. содержательную книгу [Попова, 2009].

цию и т.д. Большинство ученых не испытывают сложностей с самоидентификацией по дисциплине, на каких бы междисциплинарных рубежах, пограничьях и территориях они ни работали.

Начиная с Аристотеля, разделение между науками производилось по предмету и методу. Я полагаю, что в когнитивной области суверенность истории в век междисциплинарности обеспечивается не предметом (он у истории предельно широкий) и не теоретическими основаниями (теории успешно заимствуются), а более всего, дифференциацией от других наук об обществе и человеке по критерию времени (подробнее см. [Савельева, Полетаев, 1997]). В свою очередь, этот критерий во многом определяет устойчивость профессиональных методов: в области приемов исследования историческая наука по преимуществу остается самодостаточной. Специфические для изучения прошлого методы в основном сосредоточены “за стенами”, а теории играют как раз роль мостов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора: университетская корпоративность, профессиональная солидарность. М., 2012.

Вишленкова Е.А., Мальшичева С.Ю., Сальникова А.А. Terra Universitatis: два века университетской культуры в Казани. Казань, 2005.

Гириц К. Интерпретация культур. М., 2004.

Гофман А.Б. Знание методологическое и знание предметное // *Одиссей*. 1996. М., 1996.

Дарнтон Р. Рабочие бунтуют: великое кошачье побоище на улице Сен-Севрен. М., 2002.

Зонтаг С. Под знаком Сатурна // *Зонтаг С.* Мысль как страсть. Избранные эссе 1960–1970-х гг. М., 1997 (http://Krotov.info/libr_min/libr.min/03_v/ey/l_06htm).

Коллингвуд Р. Идея истории. М., 1980.

Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели: Московский университет в историко-культурной среде XVIII в. М., 2006.

Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры. М., 2005.

Попова И.Л. Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М., 2009.

Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997.

Сословие русских профессоров: создатели статусов и смыслов. М., 2013.

Университет для России: взгляд на историю культуры XVIII столетия. Т. 1. М., 1997; Т. 2. М., 2001.

Abbott A. Chaos of Disciplines. Chicago, 2001.

Arcangeli A. Cultural History: a Concise Introduction. London, 2011.

Blumer H. Symbolic Interactionism; Perspective and Method. Englewood Cliffs (N.J.), 1969.

Braudel F. Histoire et sciences sociales: la longue durée // *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. 1958. № 4.

Burke P. Varieties of Cultural History. Ithaca (N.Y.), 1997.

Burke P. What is Cultural History? Cambridge, 2004.

Charon J.M. Symbolic Interactionism an Introduction, an Interpretation, an Integration. Boston, 2004.

Chartier R. Le monde comme representation // *Annales E.S.C.*, novembre–décembre 1989. № 6.

Conrad Ch., Kessel M. Kultur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgart, 1998.

Contat N. Anecdotes typographiques où l'on voit des coutumes, moeurs et usagesingoliers des compagnons imprimeurs. Oxford, 1980.

Daniel U. Kompendium Kulturgeschichte. 5., durchges. u. akt. Aufl. Frankfurt a. M., 2006.

Daston L. Die Akademien und die Einheit der Wissenschaften. Die Disziplinierung der Disziplinen // Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich. Berlin, 1999.

Deile L. Die Sozialgeschichte entlässt ihre Kinder. Ein Orientierungsversuch in der Debatte um Kulturgeschichte // Archiv für Kulturgeschichte. 2005. Bd. 87.

Ginzburg C. Clues, Myths and the Historical Method. Baltimore (Md), 1989.

Griffin E.A. A First Look at Communication Theory. Boston, 2006.

Lepeniz W. Gefährliche Wahlverwandschaften // *Essays zur Wissenschaftsgeschichte*, 1989.

- Lutz R.* Geschichtswissenschaft der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München, 2003.
- Maor E.* To Infinity and Beyond: a Cultural History of the Infinite. Boston, 1987.
- Marcovich A., Shinn T.* Where is Disciplinarity Going? Meeting on the Borderland. Studies of Science and Technology // Social Science Information. Vol. 50. № 3–4.
- Maurer M.* Kulturgeschichte. Eine Einführung. Köln, 2008.
- Melching W., Velema W.* Main Trends in Cultural History: Ten Essays. Amsterdam, 1994.
- Mornet D.* Les origines intellectuelles de la Révolution française 1715–1787. Paris, 1967.
- New Dictionary of the History of Ideas. Detroit, 2005.
- Novick P.* That Noble Dream: The ‘Objectivity Question’ and the American Historical Profession. Cambridge, 1988.
- Ory P.* L’histoire culturelle. Paris, 2007.
- Ory P.* L’histoire culturelle de la France contemporaine, question et questionnements // Vingtième Siècle. Revue d’histoire. 1987. № 16.
- Poirrier Ph.* L’histoire culturelle: un “tournant mondial” dans l’historiographie? Postface de Roger Chartier. Dijon, 2008 (<http://chrhc.revues.org/1380#ftn1#ftn1>).
- Poirrier Ph.* Les enjeux de l’histoire culturelle. Paris–Seuil, 2004.
- Poster M.* Cultural History and Postmodernity: Disciplinary Readings and Challenges. New York, 1997.
- Savelieva I.* Cultural History: Disciplinary Borderlands in the Time of Border-Scrapping // “Humanities” (WP BRP 13/Hum/2013) National Research University Higher School of Economics.
- Sewell Jr., W.H.* Logics and History: Social Theory and Social Transformation. Chicago, 2005.
- Stollberg-Rilinger B.* Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? // Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 35. Berlin, 2005.
- Thompson E.P.* The Making of the English Working Class. Toronto, 1991.
- Tschopp S.S., Weber W.E.J.* Grundfragen der Kulturgeschichte. Darmstadt, 2007.
- Wehler H.-U.* Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München, 1998.